

**
*

Роспуск Думы поставил Столыпина на первое место; он занимал его почти до смерти своей. Говорю «почти», так как исключительное положение свое он потерял уже раньше. Без пули Багрова он, вероятно, стал бы новым примером людской неблагодарности. Только смерть возвела его на тот пьедестал, который опрокинула лишь Революция.

В литературе о Столыпине больше преувеличений и страстей, чем справедливости. Это удел крупных людей. У современников к нему или «восхищение», или «ненависть»; правду им воздает только потомство. Думаю все-таки, что лично я отношусь к нему без предвзятости. При его жизни я не раз и резко против него выступал. Но уже во время Великой Войны с трибуны высказал сожаление, что в нужное время его с нами нет. В 1929 г. в эмиграции, вспоминая про Витте, я написал, что если Витте мог спасти Самодержавие, то Столыпин мог спасти конституционную монархию*). Я и теперь думаю это; им обоим мешали те, кого они могли и хотели спасти. И когда Милюков в 1921 г. в своих «Трех Попытках» писал про Столыпина, что он «услужливый царедворец, а не государственный человек**), я нахожу, что это не только пристрастие; в этом нет ни чуточки сходства.

Сопоставление Столыпина с Витте само собой напрашивалось; оба были крупнейшие люди эпохи; судьба их во многом была одинакова. Любопытно, что они не вынесли друг друга; но характеру были совершенно различны; различны были и их места в той тяжбе, к которой тогда сводилась наша политика, т. е. к тяжбе «власти» и «общества».

Витте по происхождению и по воспитанию принадлежал к лагерю нашей общественности. Был студентом Университета, а не привилегированных школ; чуть не стал профессором математики и начал свою деятельность на железнодорожной службе у частного общества. Случайно, по личному настоанию Александра III, перейдя в лагерь власти, он остался в нем *parvenu*. В своих «мемуарах» он старается это затушевывать, указывая на происхождение своей матери из рода Фадеевых, которая будто бы сделала *mesalliance* замужеством с Витте-отцом. Старания Витте себя приправлять к этой среде характерны для нравов. Но в лагере власти Витте оценил те возможности работать в широком размахе на пользу страны, которые тогда Самодержавие открывало. Эти возможности и успехи его

*) Власть и Общественность, т. II, стр. 250.

**) Милюков, Три попытки, стр. 87.

увлекли и он разошелся с самой психологией нашей общественности. Витте знал хорошие стороны общественных деятелей и ту пользу, которую они бы могли принести, если бы не обессиливали и государство, и себя борьбой с Самодержавием. Такова, вероятно, психология честных работников в аппарате Советской России, которые соблазнились перспективой в нем активно служить России. Но когда, несмотря на усилия Витте направить силу Самодержавия по руслу «Великих Реформ», оно пошло по противоположной дороге, а личность нового Самодержца убила веру в Самодержавие, сам Витте посоветовал призвать общественность к участию во власти. В этом могло быть спасение. Но на этой дороге положение Витте оказалось особенно трудно. Оба лагеря — и власть, и общество, ему не верили; оба видели в нем перебежчика, который может опять изменить. Да и сила Витте была не на конституционной аренде; историческая роль его завершилась с крушением Самодержавия; как практический деятель он не смог его пережить.

Более подходящим человеком для этой новой задачи мог быть Столыпин. Он вышел из лагеря власти; был там своим человеком; от него и не отрекался; в новых условиях продолжал служить тем же началам, в которых была заслуга исторической власти перед Россией. Она в прошлом помогла ей создаться, как «великому государству». Но оставаясь тем, чем он был, Столыпин понял необходимость для власти сотрудничества с нашей **общественностью**. По этой дороге Столыпин мог идти дальше, чем Витте, не возбуждал против себя подозрения власти. И общественность, для которой он был всегда чужим человеком, могла бы быть к нему менее требовательна. Это сильно чувствовал Витте. В его отзывах о Столыпине чувствовалось инстинктивное недружелюбие к человеку, который осуществлял меры, которые Витте предлагал раньше его и встречал в обществе ту поддержку, в которой тем же самым обществом ему, Витте, было отказано. Но это относится только к **умеренной** части общественности. Кадеты же, тогдашние властители дум, упоенные октябрьской победой, оставались верны прежним заветам борьбы «до полной победы» над властью. Столыпина они не принимали. Для них он оставался прежним врагом. Из враждебного лагеря кадеты принимали вообще одних «ренегатов», которые к своему прошлому становились врагами. Быть одним из **них** Столыпин не хотел и не мог.

Свое новое направление Столыпин соединил с верностью **прежним** идеалам, а также иногда и предрассудкам. В нем была неличемерная преданность той моцци «Великой России», которую общественность «пренебрегала». Свою аграрную речь 10 мая 1907 года он кончил словами: «им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия*»). Эта эффектная фраза в искаженном виде попала

*). Так было Столыпиным сказано и так записана эта фраза в сте-

из его киевский памятник. Этот идеал его вдохновлял. Но он унаследовал и некоторые его оборотные стороны. В З-й Государственной Думе он старался воодушевить народное представительство «национальным подъемом», не замечая, что национальный инстинкт «поднимает», когда национальность защищает себя против **сильнейших**, а не тогда, когда она **притесняет** слабейших. В разноплеменной России **агрессивный** национализм увеличивал ее разъединение. В Финляндском вопросе он привел не только к нарушению **конституционных** начал, но и к падению авторитета Монарха. Эту политику Столыпин вел с своим обычным упорством; после 1917 года мы за нее заплатили.

Опыт убедил Столыпина, что именес для существования «Великой России» представительный строй стал необходим. Он перешел к признанию представительства не во имя доктрины «народовластия», а во имя укрепления всего «государства» и прежде всего «государственной власти». Если в вопросе о конституции он сошелся с нашей левой общественностью, то пришли они к одному и тому же с **разных концов**. И потому могли дополнять и быть полезны друг другу.

С «правыми» из-за этого он стал расходиться; там ему не прощаали, что став конституционалистом, он как будто ограничил власть Государя и его этим уменьшил. Это было полным непониманием положения и лично Столыпина. Никто не был больше его привязан к Монархии и лично к Монарху; не как угодник, а как патриот. Это сказывалось и в большом, и в малом. Когда раненый на смерть, упав на свое кресло в театре, Столыпин издали перекрестил Государя, это не было с его стороны «обдуманным» жестом. Но красноречивее этого жеста было его повседневное поведение; при жизни своей он не раз был оскорблен неблагодарностью и малодушiem Государя, но не позволял себе по его адресу ни упрека, ни жалобы. Я не могу представить себе его автором таких мемуаров, где бы он стал пренебрежительно говорить о Государе, как Витте. Его часто упрекали, что подчиняясь неразумным распоряжениям Государя, он своим личным **достоинством** жертвовал. Это правда, но он и в этом был старомоден. Он не признавал «достоинства» в том, чтобы ради него он мог покинуть своего Государя.

В понимании Столыпина переход Самодержавия к «конституционному строю» был направлен не против Монарха. Конституция для него была средством спаси то обаяние Монархии, которое сам Монарх убивал, пытаясь нести на своих слабых плечах непосильную для них тяжесть и обнажая те скрытые силы, которые за его спиной им самим управляли. «Конституционные» министры могли

нографическом отчете. Но на памятнике ее переделали в странное обращение: «Вам нужны великие потрясения и т. д.». Текст речи 10 мая слова «вам» и по содержанию не допускает.

бы оправдание его политики перед обществом взять на себя, сражаться с своими критиками равным оружием, защищаться от нападок не полицейскими мерами, а убеждением и публично сказанным словом. Для такого служения государству у Столыпина было несравненно более данных, чем у Витте; как политический оратор он был исключительной силы; подобных ему не было не только в правительстве, но и в среде наших «прирожденных» парламентариев.

Приняв конституцию, Столыпин хотел стать у нас проводником и «правового порядка». Этот термин требует пояснения. Он по нашим понятиям указывает на права «человека» в противоположении к правам «государства». «Власть» и «общественность» в этом смысле были как бы два противоположные лагеря: служить одному значило воевать против другого. На этом противоположении воспиталась вся наша общественность*). Преданность «правовому порядку» для нее поэтому становилась почти синонимом «свободолюбия». Столыпин, как человек из лагеря власти, рассуждал все же не так; подход к этому вопросу у него был другой. Правовой порядок для него означал не «объем» прав человека, а их **определенность** и **огражденность** от нарушения. Даже неограниченное Самодержавие теоретически понимало необходимость ограждать признанные им «права» человека. Но прежний строй не нашел достаточного выражения этой идеи и оказался с ней несовместимым; в этом для Столыпина была одна из причин необходимости перехода от Самодержавия к конституции. Он на опыте, кроме того, увидел последствия «неопределенности» и «неясности» прав человека; видел анархию, которую породил Манифест 17 октября, провозгласивший **общие начала** противоречившие законам и навыкам жизни. В неопределенности и незащищенности личных прав была одна из причин хронического раздражения и неудовольствия всего населения, превращавшее общество из опоры и сотрудника государственной власти в объект полицейских воздействий. Правовой порядок был поэтому для Столыпина не порождением «свободолюбия», а потребностью самой здоровой, недеспотической «государственной власти». Столыпин не был ни теоретиком, ни журналистом; этой мысли он систематически не излагал; но она у него по разным поводам обнаружива-

*) В своей книге «Власть и Общественность» (т. II) я рассказал, как на Учредительном Съезде к. д. партии на меня набросились за то, что я осмелился высказать, что политическая партия должна уметь себя видеть на месте правительства и рассуждать, как правительство. Это значит, сбъяснял мне тогда С. Н. Прокопович, рассуждать «применительно к подлости». Мы должны быть «защитниками народа» против власти. Интересно не это; это происходило в сумасшедшее время. Интересно то, что уже здесь, в эмиграции, в 30-х годах, Милюков печатно в этом разномыслии принял его сторону против меня. Если это не только «политика», то это показывает власть старых переживаний.

ясь, и больше всего в его своеобразном отношении к вопросу крестьянскому, на что мне впоследствии придется указывать*).

Говоря языком современности, Столыпин представлял ту политику, которую принято называть «левой политикой правыми руками». В ней есть хорошая сторона; ей не грозят вредные увлечения; но в ней была и опасность. Идеи «личных» прав, свободы, равенства, без которых весь правовой порядок может оказаться «великою ложью», были для Столыпина второстепенными; у него часто не хватало чутья, чтобы замечать то, что в действиях его им противоречило.

Это было тем опаснее, что свои цели он преследовал всегда с пепреклонной настойчивостью. В основе их была не только сильная воля, которая перед трудностями не отступает, но и для упрямства, которое «боится» уступок и «ошибок» признавать не желает. Исключительно «сильные» люди, как Бисмарк, умели уступать, когда это было полезно, забывая о своем самолюбии. Столыпин же любил идти напролом, не отыскивая линии наименьшего сопротивления, не смущаясь, что плодил этим лишних врагов и открывал слабые места для нападений. У него было пристрастие к тем «эффектам», которые обывателей с толку сбивают; (он называл их действие «шоком»). Он не умел целей своих достигать незаметно, «под хлороформом», по выражению Витте, в чем была главная сила этого гениального «практика». Столыпин не хотел считаться с тем, что таким образом действий иногда наносил удар тем мерам, которые хотел провести; это ярко сказалось на ненужном и болезненном кризисе в связи с Западным Земством.

Такая тактика была слабою стороной Столыпина, особенно как представителя конституционной Монархии, обязанной сообразоваться с признанной ей самой государственной силой, т. е. с организованным в «представительство» общественным мнением. Оно затрудняло взаимное его понимание с ним. Но противоречия между словами и делом Столыпина общественность слишком упрощенно объясняла его лицемерием; так и Витте писал про него, будто «честным человеком он был лишь до тех пор, пока власть не помутила ему разум и душу**).

К Столыпину такое объяснение относиться не может; для него власть не была непривычным делом, которое голову кружит. И соединять «лицемерие» с характером Столыпина трудно. Лицемерие совсем не его стиль. Столыпина невозможно представить себе ни «intrigantem», ни «услужливым царедворцем». В своем личном поведении он был человеком независимым, решительным и смелым. За обидное слово о «Столыпинском галстуке» он вызвал Ф. И. Роман-

*) См. об этом 3-ю главу этой книги.

**) Гр. Витте, Воспоминания, т. II, стр. 493.

за на дуэль. Все это так, однако Азеф «расцвел» при Столыпине, и 2-ая Дума была распущена при содействии «провокации». Здесь есть тайна, но разгадка ее не в «упоении властью». Она проще. Столыпин — да не он один — просто еще не успел совлечь с себя «ветхого человека», воспитанного на старой идеологии о «неограниченной власти» Монарха или вообще «государства» над «личностью». Упрекать его можно не в том, что эту идеологию и он разделял, а в том, что он мечтал быть проводником «правового порядка», **сохраняя** ее. Для этой задачи необходимо было уважение к «суверенности» права, которого вообще было мало; его не было ни у представителей старого режима, ни у их врагов, — революционеров. Эту идеологию права могла бы воплотить «общественность» и первая Дума, если бы за чеченскую похлебку не уступила **этого** своего первородства. Столыпину же эта задача была труднее, чем ей. Защитнику «прав человека» вообще трудно выйти из **правого лагеря**, не став «ренегатом»; но на ренегата, которых в то время появилось так много, Столыпин не был похож.

На такого человека после роспуска Думы пала задача установить в России конституционный порядок; эту задачу он принял. Его дальнейшая деятельность, перемены, которые с ним происходили, не стоят в противоречии с этим. Нужно только смотреть глубже, чем видимость. Левая общественность тогда находила, что роспуск Думы должен был быть только шагом к полному упразднению представительства, и что будто от этого она Россию спасла своим хитроумным Выборгским Манифестом. Не может быть большего самообольщения, если только вообще это странное утверждение искренне. Опротивлять его просто не стоит. Конечно, в правящем классе, и особенно в окружении Государя, такие настроения были; но им не дал ходу не Выборгский Манифест, а Столыпин. У него тогда был свой план и мы можем документально его воссоздать.

В «Красном Архиве» было напечатано любопытное письмо Государя к Столыпину, в котором он указывал ему канву для составления Манифеста о роспуске. В письме были приведены следующие три пункта:

- 1) Краткое объяснение причин роспуска Думы,
- 2) неодобрение и порицание тем, кто позволил себе грабить и жечь чужую собственность,
- 3) заявление, что все дальнейшие задачи мои, как отца о своих детях, будут направлены к справедливому обеспечению крестьян землею*).

Это был старый стиль патриархальных Самодержцев, с их «отеческим» попечением о подданных, как о детях своих. Но что на этой канве вывел Столыпин?

*). Гр. Витте, Воспоминания, т. II, стр. 493.

«Неодобрение и порицание тем, кто позволил себе грабить и жечь чужую собственность» он заменил в Манифесте той беспощадной войной вообще с Революцией, которую считал одной из своих главных задач. В этом он был непреклонен и искренен. «Да будет всем ведомо, что мы не допустим никакого своеволия и беззакония и всей силой государственной мощи приведем ослушников закона к подчинению нашей Царской воле». Но это только **одна** задача. Манифест далее говорит, о чем в конспекте Государя не было и намека, что «распуская нынешний состав Государственной Думы, мы подтверждаем вместе с тем неизменное намерение паше сохранить в силе самый закон об учреждении этого уставопления»; а дальше, что не менее знаменательно: «мы будем ждать от нового состава Государственной Думы осуществления ожиданий наших и внесения в законодательство страны соответствия с потребностями обновленной России».

Так ставил свою задачу Столыпин, и па это получил одобрение Государя и обещание Манифеста. Все дальнейшее уже зависело от состава будущей **Государственной** Думы. Ее роль в жизни страны ставилась на первое место. Подготовить подходящую Думу, получить в ней благоприятный состав, способный страну обновить, и сделать все это без нарушения избирательного закона, было главной и совершенно законной целью Столыпина. Именно для этого, а не для чего другого, выборы были отсрочены на ненормально долгое время, на 8 месяцев. Общественность была совершение неправа, когда в этом усмотрела желание Думы не созывать. Столыпин, понимая ту вредную общественную атмосферу, в которой Первая Дума работала, которая ее сбивала с пути, эту общую атмосферу хотел изменить и сделать это **до** выборов. Это сейчас становилось для него первой задачей.

Потому, прежде чем перейти ко 2-ой Думе, в чем содержание книги, надо посмотреть, как **эта** задача была им исполнена. Мы увидим тогда, что Столыпин лучшеставил задачи, чем их разрешал.